

Н. Н.  
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

*Избранное*



Николай Златовратский

**Золотые сердца**

«Public Domain»

1877

**Златовратский Н. Н.**

Золотые сердца / Н. Н. Златовратский — «Public Domain», 1877

Повесть «Золотые сердца» посвящена радикально настроенной молодёжи.

© Златовратский Н. Н., 1877

© Public Domain, 1877

## Содержание

Глава первая	5
I	5
II	10
III	13
Глава вторая	21
I	21
II	24
Глава третья	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Николай Николаевич Златовратский

## Золотые сердца

### Глава первая

#### Морозов

#### I

Как теперь вижу эту оригинальную, высокую, сутуловатую фигуру в смешном длинном сюртуке, застегнутом под самое горло на одну верхнюю пуговицу и затем на одну внизу, это умное, сердито-доброе, но вечно угрюмое лицо, обросшее черною бородой, которую нервно и безжалостно трепал он левою рукой в то время, когда правая непрестанно ерзала в образовавшуюся между незастегнутыми бортами сюртука пазуху, как будто он всегда искал чего-нибудь в боковом кармане.

Я сидел на завалине около житницы, в далекой деревеньке одной из великороссийских палестин, и тянул из крынки парное молоко. Он порывисто ошагивал, как часовой, мимо меня пространство в три сажени, сердито смотря в землю и изредка окидывая взором окрестную местность: «зады» крестьянских дворов, смотревших на нас развалившимися гумнами, поля с тощим хлебом, плохой лесишко, раскинувшийся беспорядочно сбоку вперемежку с кустарником и перелогом<sup>1</sup>. Мой собеседник негодовал, но у меня, – не знаю почему, – не сходил с губ самая добродушная улыбка, каждый раз, когда я встречал на себе его негодующий взор. Его доброе лицо, к несчастью, никак не укладывалось в мину негодования, и из этого выходило нечто милое и смешное. Я хорошо знал его, и для меня не мог скрываться его недостаток – неумение, при всем желании, лицемерить и владеть личными мускулами настолько, чтобы можно было скрыть природное добродушие. Он, казалось, знал это и часто сердился на свое лицо. «Черт знает, – говорил он, – что за рожа такая холуйская!.. Увидит станового – и тотчас же изобразит: милости просим закусить!» Поэтому никакое начальство не было на него в претензии, как он ни силился изобразить из себя беспокойного человека.

Он был действительно прекрасной души человек и оригинал. Ему лет под тридцать пять. В его боковом кармане (к которому он, по случайной привычке, так часто отправлял на ревизию свою правую руку) лежало пять дипломов, выданных на разные ученые степени из разных высших учебных заведений. Он перекочевывал из одного в другое десять лет: кончив курс в Московском университете по юридическому факультету, перешел на второй курс математического факультета Петербургского университета; кончив здесь, перебрался на третий курс Земледельческого института, отсюда на третий курс Технологического института и уже здесь закончил свою студенческую карьеру, набив карман разными дипломами, как паспортами на свободный проезд по всевозможным карьерам. Этому помогли, конечно, его замечательный ум, бесподобная память и неимоверная энергия, с которой он переносил все невзгоды необеспеченной жизни. Он был сын мелкого конторщика на фабрике, совершенно случайно попавший в «приватные» ученики к одному экс-студенту, который выучил его грамоте. Этот же студент остался для него какой-то святыней на всю жизнь, хотя он его уже не встречал более по окончании своей учебной карьеры. Он говорил, что это был «великий ум, высокая душа», что он, Морозов, «недостойн развязать ремень» и пр. Запасшись столькими учеными дипломами,

---

<sup>1</sup> Перелог – оставленный без обработки и заросший участок земли, бывший прежде под пашней.

он тем не менее не придавал им никакого значения. «Все это было приобретено, – говорил он, – не более как ввиду кормления. Вышел я из университета, потолкался было в адвокатах, только что расцветавших тогда, да не показалось. Пошел в лесной институт, в расчете на стипендию; получил, кончил, поехал на завод: думал, по глупости, нечто совершить, да кончил тем, что женился на помещице, бросил место и уехал опять в Питер, на стипендию в технологический, ибо с женою было жить нечем. Мы с ней без позволения сошлись, так тятенька, осердившись, ничего ей не дал. Вот таким манером ради кормления и нахватал бумажонок...» После этого он странствовал по разным местам, был опять юристом, техником, лесничим, даже учителем, но нигде не усидел больше года. Измучил этими переходами себя, расстроил нервы жене и дошел до того, что не нашел ни чего лучше, как сделаться самостоятельным и независимым рабочим-механиком, в компании с двумя приятелями, уже пытавшимися изготовлять свои швейные машины. Но в это время умер у него тесть, и жена увезла его насильно в доставшееся ей по наследству имение. Его деятельность и виды приняли на некоторое время другое направление: он задумал устроить образцовое заведение сельского хозяйства, применительно к экономическим средствам среднего крестьянского хозяйства. Сзывал к себе мужиков-хозяев, поил их водкой, показывал им плодопеременные системы, опыты возвращения леса и кукурузы, великолепную рожь, родившуюся у него... Мужики от всего этого ахали, приходили в восторг и говорили, что его, должно быть, бог возлюбил – потому ему и счастье...

– Врете вы! – кричал он. – Почему же у вас нет:

– Мы, должно, господа прогневили...

– Врете вы... Смотрите: вот и вот почему; делайте так... И пр.

Мужики стояли на своем и показывали на облака, «с которыми, брат, тоже пива не сваишь!.. Вон его, батюшку, кто ведает – куды несет: может, оно с градом, а может, и нет; может, с дождем, а может, и с засухой... Ты вот на это как скажешь?..»

Он опять ругался, кричал, выходил из себя, а мужики, выпив водки, уходили домой, может быть, кое-что, впрочем, и унеся с собою из умственной пищи.

Однако он был недоволен, хотя жена не нарадовалась на образцовое хозяйство. Он заперся в кабинете и долго корреспондировал оттуда в газеты и журналы. Но, как человек живой, не вытерпел, стал опять ругаться с мужиками и... во время этой ругани организовал артель для разработки местного алебаstra...

Но все это – и проба различных профессий, и образцовое хозяйство, и производительные артели – было для него не более как суррогатом, которым он заглушал в себе искусственно потребность в чем-то ином, подобно тому как голодный бросается на различные суррогаты хлеба в виде древесной коры, мязги<sup>2</sup>, лебеды и пр. Все это не столько удовлетворяло его, сколько еще больше раздражало. Он не только не видел во всех этих «экспериментах» что-либо прочное, не только не верил в какое-либо особое значение их, но, напротив, как будто и проделывал их с единственной целью доказать самому себе, что все это не более как «штуки» и «мазанье по губам».

– Русский человек – или романтик, или плут, – говорил он, залезая всей пятерней к себе в бороду.

– Будто бы так строго ограничено?

– Совершенно так. Какое же тут может быть общее дело? Общее дело только у плутов и может быть. А романтики к нему не способны уже потому одному, что расплывчаты.

– Но ведь у нас, как вы знаете, были попытки с довольно определенной целью?

– Ничуть. Один романтизм, стремление к чему-то очень хорошему, но в чем состояло это хорошее, а еще более – как к нему идти и что из сего выйдет, – мы ровно ничего в этом не понимали...

---

<sup>2</sup> Мязга, мезга – мягкий внутренний слой коры дерева.

– Ну вот! Да и вы тоже романтик?

– И я романтик. Грешен теми же грехами уже потому, что сам русский...

– Но ведь вы – сын народа?

– Все некультурные народы – романтики; а наш тем более. Я, батюшка, такой крепкой верой в чертей заручился среди своих родичей, что, признаюсь вам, до сих пор еще кой от чего не освободился.

Он сплюнул на сторону, как будто действительно отплевывался от дьявольского наваждения. Я улыбнулся, но он не обратил внимания.

– И знаете что, – сказал он, уставившись на меня глазами и засовывая за пазуху сюртука правую руку, – пока народ не узнает хорошенько себя, до тех пор будут одни недоразумения...

– И все оттого что романтики?

– От этого.

– Но согласитесь, что у народа нередко бывало «общее дело»?

– Какое же это дело? Заносит в деревню отставной солдат какую-нибудь прекрасную идею, примерно хоть о том, что с такого-то срока выйдет приказание с неба галушкам валиться... Идейка эпидемически охватывает баб и мужиков-романтиков, деревню за деревней, село за селом... Начинается «общее дело», бросание работ, уличные сходы... Затем команда – и ушат холодной воды на романтические головы...

– Есть, однако, события и покрупнее... Вот, к примеру, двенадцатый год?

– Это сожжение-то своих хат и «животишек»?

– Да хоть бы и это.

– Помилуйте, да какой же народ солидной культуры дозволит себе такое молодечество?

– В таком случае все-таки нужно сознаться, что романтизм иногда бывал у нас «чреват результатами», как выражаетесь вы. И еще можно поспорить, что лучше: солидная культура с определенными и очень узкими идеалами или бескультурный романтизм...

– Может быть. Тем не менее то, что все мы романтики, – несомненно. А романтизм имеет одно очень скверное свойство: он живет и питается иллюзиями, а этим свойством очень удобно пользуются плуты. Кстати, вы знаете, что сегодня моя жена именины справляет?

– Нет.

– Пойдемте ко мне. К ней сегодня, наверно, съехалась вся здешняя уездная Палестина, как, бывало, съезжалась к ее отцу...

– А вы что же не участвуете в приеме?

– Я-с? – круто повернулся он ко мне. – Я с плутами несколько строг и груб, а романтики здешние меня считают не более как мужем моей жены и поэтому, кажется, презирают... Да и мне в них мало проку. Впрочем, жена у меня добрая, любит угощать. Я ей не мешаю: она теперь попала в свою стихию и отдыхает.

Я и так бессовестно долго заставлял ее цыганствовать с собой... Пойдемте!

Замечу здесь кстати, что не только баре, но и мужики третировали его, не то чтобы свысока, а запанибрата. Они давно знали, что он сын фабричного, и часто запросто «тыкали» его, в то время как перед «барыней» холопствовали. В особенности «по душе» относились к нему мужики помельче, неполитики. Им было известно, что он назывался еще в мальчиках Петром Малым, а потому он и преобразился у них в Петра Петровича Малова. Настоящая же фамилия его была Морозов.

Мы обогнули «крестьянские зады» и вышли на сельскую улицу, почти сплошь заросшую мелкою кудрявою муравой, напитанной, как губка, водой после недавнего дождя. Нам нужно было пройти через все село. На половине улицы от одного дома отделился мужик, без шапки, в одной рубахе и портах, подошел к нам и сказал «Здравствуйте», мотнув головой.

– А у барыни гости, – прибавил он, обращаясь к Петру Петровичу.

– А тебе что? – буркнул сердито Петр Петрович.

– Так, мол... Может, не знаешь... Она вон Дикому твои заведенья показывает. Хвалит.

– И пускай показывает.

– Знаю... У тебя разве что худое есть. Тебе скрываться нечего. Твоим делом всякий любуйся – не налюбуйешься... Твое дело начистоту у всех...

– То-то вот и есть... Так и пуцай смотрят... На то я и ферму устроил... А вы вот мне не верите...

– Как не верить? Верим. Да разве нам пристали эти игрушки-то? Мало что хорошо – да не возьмешь!

– Знаю, лучше вас это знаю. Кабы вы только это говорили, – так я бы вам ни слова не сказал... А вы вон в облако пальцем тыкаете.

– Что ж! В облаке, брат, и ты не велик владыко...

Пока мы разговаривали с этим мужиком, к нам подошло еще несколько человек. Видимо, у них было до Петра Петровича дело.

– Петр Петрович, а мы опять к тебе по нашему делу... Крестьянское присутствие опять, вишь ты, затянуло нас, – заговорил тот же мужик.

– Я сказал – ступайте к майору.

– Да ведь что ж майор? Майор у нас душа-человек! Только в заправском деле выправки у него нету...

– Поспособствуйте! – заговорили мужики. – Мы бы по гроб жизни...

– Я уже вам способствовал, чего еще? Полгода из кожи лез, а что сделал?

– Так, так... Это что говорить! Продолжительное дело... Да, может, теперь оно ходчей пойдет...

– Ну, и ступайте к майору. А я не хочу, потому что все одно оно, что у майора, что у меня пойдет...

– Обстоятельнее бы с тобой.

Петр Петрович надвинул шляпу и зашагал от мужиков. Мы шли некоторое время молча.

– Вы знаете этого майора? – спросил он.

– Мало.

– Мы его встретим у жены. Потешный человек: стар, детски-наивен, храбрится, как отставной солдат на костылях. Он теперь гласным в земстве от крестьян; распинается там, шумит, заводит истории, одним словом – подвижничают. Нажил себе врагов, а больше, впрочем, насмешников. Крестьяне в нем души не чают, а по-моему, все это выведенного яйца не стоит, потому что – романтизм.

– Однако, значит, он полезен все-таки крестьянам?

– Наверно, но настолько, насколько полезен был бы и простой волостной писарь. Потому что ведь у нас все «на законном основании», а «законное основание» одинаково и для меня, и для майора, и для писаря.

– Потому-то вы им и отказали в содействии?

– Потому и отказал... Воображать, что могу сделать что-нибудь помимо «законного основания», как воображает майор, не могу, а потому отказал.

Мы прошли село, за которым невдалеке показалась усадьба Морозовых. От деревни вид на нее был прелестный. Она стояла на косогоре, отлого спускавшемся к реке, поросшей по берегам зеленым тростником. Все здания скрыты были в зелени садов и рощи, разросшейся по косогору, и только кое-где мелькали сквозь деревья красные и белые крыши с белыми, блестящими на солнце трубами.

– Эдакая благодать у вас в усадьбе! – показал я Петру Петровичу, останавливаясь на повороте дороги, чтобы полюбоваться этой действительно редкой картиной.



– Да, хорошо! – прошептал он как-то лениво. – Я рад за жену. Рад, что, устроив это имение, я хоть чем-нибудь мог отблагодарить ее за кочевание со мной. А самому мне хотелось бы вон отсюда.

– Опять кочевать?

– Опять.

Петр Петрович улыбнулся.

– Вам это кажется смешным? Да, оно смешно выходит, действительно, – проговорил он задумчиво и шмыгнул правой рукой к боковому карману. «Щупает дипломы», – промелькнуло у меня в голове.

– Удивительное дело, – продолжал он, – не могу равнодушно смотреть ни на лес, ни на реку, в особенности на большую... Так и потянет руку к топору, к веслу. Тело у меня зудит. Кажется, с теми дипломами, какие у меня имеются, каким бы ученым можно быть, примерно хоть немцу! А у меня повалится из руки, потому что ей способнее и любезнее сжаться в кулак. И ведь не дилетант я, а вот, подите ж, больше дня в кабинете ни в жизнь не просидеть!

– Да и незачем совсем закупориваться.

– А что же делать? Науку я мог бы считать единственным делом, которое не напоминает романтизм. Да что ж вы сделаете, ежели тянет! Мой дед был бурлак, – понимаете, настоящий бурлак, рабочая сила, лошадь, запряженная в лямку, и, как русский мужик, романтик по преимуществу...

– А ведь русский романтизм имеет глубокие корни в тысячелетней невеселой народной жизни, – заметил я.

– Это совершенно верно. Эту жизнь народ дошел до замечательных обобщений. Но все эти обобщения романтичны и неизмеримо далеки от действительной жизни. Они далеко опередили его культуру – и вот почему ему теперь так «неможется». Мой дед любил петь и рассказывать про поволжскую вольницу, про Ермака, про Сибирь... При этом плакал. Да и есть о чем!.. Наш теперешний бурлак – и Ермак! А ведь дети одной реки! Как же можно было не быть моему дедке романтиком! В своих рассказах он то возил меня с песнями по Волге, то тянул лямку по ее песчаным берегам, то уходил в сибирские леса, на Лену, Иртыш. В трескучие морозы мы валили вековые деревья, звенели топоры, жужжали пилы, раздавались выстрелы, падал пушной зверь, трещал огромный костер. Мы проживали на «новине» зиму, строили хаты, устраивали рыбные ловли и, основав поселение, уходили дальше, туда, в глубь дебрей. Вероятно, вследствие этого во мне так сильна «колонизаторская», «пионерская» жилка. Вот почему я и бросаюсь на такие предприятия, которые носят приблизительно этот колонизаторский характер, как, например, мое сельскохозяйственное заведение или артель, значению которых я, впрочем, не верю ни на грош. Дальше идти нельзя, ибо наткнешься на «законные основания», а удовлетвориться этим не в силах! Туда бы вот, в глубь доисторических времен, где еще «законных оснований» не было!

Он улыбнулся, снял шляпу и провел рукой по волосам.

– Что же, – сказал я, – в Сибирь! Она велика...

– Конечно, я бы давно был там, если бы жил вместе с дедкой, во времена Ермака... Но, пройдя искус цивилизации, хочется взглянуть и на это дело пошире, чем смотрел поволжский бурлак. А когда сложатся обстоятельства сообразно этому «пошире»? Впрочем, для этого не единичные силы требуются, а общее дело, – прервал он резко свою речь, которая так необычно плавно полилась было у него, – общее дело-с!

Мы подошли к усадьбе.

## II

У палисадника из акаций, окаймлявшего передний двор, в глубине которого пропадал господский дом обыкновенной «барской» архитектуры, с двумя «парадными» крыльцами по бокам, со множеством окон, Длинный и низкий, с высокою красною крышей, стояло два экипажа. Один из них был старинный тарантас, с откинутым верхом, на рессорах, заложенный тройкой черных лошадей, две из которых были уже очень стары. Старый, угрюмый, с огромною седою бородой кучер похаживал вокруг них, изредка медленно и обстоятельно запуская в нос понюшки табаку, поправляя сбрую и вытирая лапами ветхого кафтана старческие ноги своих господских воспитанниц с побелевшими губами и проседью на гривах. Другой экипаж представлял собой легкую крестьянскую плетушку на тонких жердях, заложенную в одну лошадь, сытую, молодую, с широким глянцевиным крупом, густой и длинной гривой, в наборной, широкой и массивной сбруе, с расписною дугой. К ней то подбегала со двора какая-то юркая, неугомонная чуйка<sup>3</sup> с чрезвычайно хлопотливым, сосредоточенным маленьким лицом, как говорят, «в кулачок», с торчащею на подбородке клиновидною бородой и маленькими, быстро бегавшими «мышинными» глазками, то опять убегала внутрь двора, в «барскую приемную».

Вдали палисадника виднелась простая крестьянская телега с распростертыми по земле оглоблями; около нее ходила, помахивая хвостом, рабочая крестьянская лошадь, привязанная на всю длину вожжей, и подбирала придорожную траву.

Первый из экипажей, с заматерелым кучером и поседевшими лошадьми, принадлежал «Дикому барину», долго с честью и славою бившемуся за излюбленные «культурные начала», пока не удалился «в пустыню», как наилучший представитель их, и, обросши бородой, окутавшись в теплый шлафрок, не заперся наедине с самим с собой, с своею любовницей и единственной старой собакой в глухом кабинете своей разрушающейся усадьбы. Таков этот «Дикий барин», как прозвали его единогласно и окрестные крестьяне, и помещики, и начальство. Мрачный, капризный, нервный, ходит он по своей добровольной темнице, скрипя половицами, глотая без наслаждения и внимания старое бургонское из последних бутылок, оставшихся от былых времен. Он приходился крестным отцом Лизавете Николаевне (жене Петра Петровича) и сегодня в другой раз изменил своему затворничеству – приехал навестить ее, верный слову, данному при смерти ее отца: заменить ей его и передать его прощение, благословение и наследство. Первое его посещение относилось к тому времени, когда только что приехали Морозовы в свою усадьбу. На этой же тройке, в том же экипаже приехал он тогда, молча поцеловал в лоб свою крестницу, молча взял у несшего за ним лакея дорожной, обделанный в золото портфель, и, вынув из него документы, относившиеся к имению его покойного друга, отца Морозовой, подал их ей, лаконично определив их значение. Затем, подав ей одну руку, попросил другой Петра Петровича последовать за ним, обошел с крестницей усадьбу, с инвентарем в руках, и потом, так же молча раскланявшись с Морозовым и вновь поцеловав в лоб его жену, уехал к себе, не показываясь вплоть до нынешнего визита.

За домом, в глубине сада, из-за густо разросшихся деревьев мелькнуло пред нами белое платье Лизаветы Николаевны. Петр Петрович, не заходя в дом, пригласил меня пройти прямо в сад. Мы обогнули угол дома и пошли по узкой боковой липовой аллее, из-за которой невдалеке виднелись деревянные и каменные усадебные службы. В конце аллеи, где она подходила к скотному двору и затем поворачивала в сторону, нам навстречу вышли Дикий барин и Лизавета Николаевна, опиравшаяся на его руку. В белом платье, с сияющим лицом, сквозь бледную кожу которого пробивался румянец, она с самодовольно-гордым наслаждением о чем-то рассказывала Дикому барину, показывая то в ту, то в другую сторону рукой. Дикий барин, в

<sup>3</sup> Чуйка – длинный, до колен, суконный кафтан.

длинном сюртуке, длинный и сутуловатый сам, с черными, с проседью, волосами на голове и с длинной эспаньолкой, в соломенной шляпе и толстою палкой в руке, послушно поворачивался в ту сторону, куда указывала Лизавета Николаевна, и одинаково сосредоточенно всматривался во все, что удостаивалось ее похвалы. А она хвалила все, потому что все это было делом рук ее мужа.

Нас долго они не замечали, но когда мы подошли уже довольно близко, Лизавета Николаевна, видимо, смешалась и несколько побледнела, как бледнеет нервный человек, опасливый и чуткий при всякой неожиданности. Она тотчас оставила руку Дикого барина и, улыбнувшись, подала руку мужу, который молча раскланялся с гостем.

– Ваша жена, – заговорил Дикий барин, – мне успела уже показать все свое имение и, конечно, не поскупилась на похвалу вам. Впрочем, похвала вполне заслуженная. Прекрасно, молодой человек! – прибавил он и протянул ему руку.

Петр Петрович слегка нахмурился и наскоро принял протянутую руку. Это маленькое замешательство тотчас же отразилось на нервной Лизавете Николаевне: она боязливо взглянула в лицо мужа и, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь, тотчас же предложила идти в комнаты.

Все мы повернули обратно и двинулись вместе по той же аллее по направлению к дому, выходившему балконом в разбитый перед ним большой цветник с живою изгородью из сирени, жимолости и тополей.

– К сожалению, я слышал, – заговорил с Петром Петровичем Дикий барин, надевая шляпу и закидывая руки с палкой за спину, – вы не придаете особого значения своим прекрасным работам по устройству родового имения вашей жены... Это справедливо?

– Да, не придаю, – отвечал Петр Петрович.

– Гм... Обыкновенная история! С таким небрежным отношением к делу русскому человеку никогда не быть передовым. В нем нет той упорной настойчивости, той культурной напряженности, которые так возвысили европейские нации. Русский человек – по преимуществу «не помнящий родства». Он не создаст себе почвы, с которой бы связали его крепко и неразрывно культурные предания. Он вечно будет цыганствовать. В его знаниях и способностях нет прочной устойчивости, нет уважения к ним. Он не сосредотачивает их на одном пункте, он, как расточительный и блудный сын, бесплодно разбрасывает их, не думая о том, попадут они на камень или на восприимчивую почву.

– Это справедливо, – заметил Петр Петрович, – но действительно ли это так плохо, как думают, – еще вопрос.

– Интересно знать, – заговорил Дикий барин, повернув в сторону от нас лицо и как бы не слышав последнего возражения, – интересно знать, что при подобных воззрениях сделаете вы... то есть вообще *ваши*... для блага *вашей* родины... *Ваши*, кажется, свысока третировали и английского лорда, и французского буржуа... Ну и прекрасно! События привели к тому, что дело у нас именно оказалось таким, как вам было желательно. Гм... События разрушили те культурные зачатки, которые вырабатывали наши отцы. Что же вы намерены наращать взамен того старого?

– Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому подобные культурные насаждения?

– Да ведь и вы совершенно хладнокровно оторветесь от той почвы, на которой возрастут посеянные вами плоды?

– Совершенно хладнокровно.

– И пойдете цыганствовать и бездомничать во имя каких-то исканий чего-то?

– Да.

– Вот оно, царство «не помнящего родства!..» Вот он, бесконечный Юрьев день<sup>4</sup>! – произнес Дикий барин сквозь зубы, и у него вырвался короткий, сухой смех.

– Ах, боже мой! – воскликнула Лизавета Николаевна, все время смущенно слушавшая разговор мужа и Дикого барина. – Да вы оба безжалостно лжете на самих себя! Ведь вы, папакрестный, не продали кулакам свое имение? А он, Петя, мог ли бы так устроить свое хозяйство, если бы не любил это дело, если бы не нашел в нем, наконец, то, чего так долго искал! Неужели вы думаете, что это дело, начатое с такой любовью, с такими знаниями, непрочно? О, это неправда, неправда! Здесь положены любовь, знание, свобода... И на них-то построятся то новое здание, которое получают в наследство наши дети!..

Все это она выговорила торопливо, нервно, ускоряя с каждым словом шаги и в волнении махая свободной рукой. Мы подошли уже к дому, и на ее горячее возражение никто не отвечал, только Дикий барин горько, надменно улыбнулся, да Петр Петрович раза два спутешествовал рукой за пазуху сюртука, что было у него признаком раздражения.

---

<sup>4</sup> *Юрьев день* – в России XV–XVI вв. время перехода крестьян от одного феодала к другому. Отменено Соборным уложением 1649 года, которое запрещало всякие переходы и окончательно закрепляло крестьян за помещиками.

### III

Когда мы поднимались по ветхим ступеням террасы, выходявшей в сад, до нас донесся из залы оживленный говор.

– У тебя уже гости, – сказал Дикий барин Лизавете Николаевне, приостанавливаясь на первых ступеньках. – Я не пойду. Я поеду домой.

– Зачем же так скоро? Выпейте хоть стакан кофе.

– У меня с ними нет ничего общего. Я не могу... Я раздражаюсь.

– Да и у нас с ними нет ничего общего...

– Не знаю-с, не знаю-с... Может быть... – скороговоркой проговорил Дикий барин. – Впрочем... я у тебя так редко бываю... Я останусь на четверть часа... Но это – большая жертва с моей стороны... Это только для тебя...

Я заметил, как при этом коробило добродушного Петра Петровича. Он выделял какие-то странные гримасы губами и покачивал головой, как будто говоря про себя: «Эк ведь изломался как! А романтик! Романтик чистый, как все мы!...» По его лицу и движениям заметно было, что он сам не раз был готов радушно пригласить Дикого барина, но всякий раз отступал и вместо приглашения только что-то бормотал беззвучно губами. «Что ж, коли ломается!» – говорило его добродушно-сердитое лицо. Это было понятно в Морозове. Насколько я его знал, он был чрезвычайно чуток ко всякой утрировке, ко всякой искусственности; он часто замечал ее в таких тонких формах, в таких, по-видимому, «душевных» отношениях, где другой глаз все принимал за чистую монету; и так как он по открытости и добродушию своего характера никак не мог удержаться, чтобы не дать заметить своих наблюдений, то и нажил себе много врагов; люди, прежде души в нем не чаявшие, сердились на него, начинали дуться и «отъезжали» от него. Вследствие же такого свойства натуры он не раз терял популярность во времена своего «молодечества», как называл он один из периодов своей деятельности и, вместо того чтобы быть «передовиком», вопреки всем ожиданиям являлся на втором плане или даже совсем ступшевылся. Это, впрочем, помогло ему избежать, помимо его воли, многих неприятностей.

Мы вошли в зал. Тут действительно собралась если не вся «уездная Палестина», как говорил Петр Петрович, то кое-какие представители ее были налицо. Прежде всего бросились в глаза два высочайшего роста, уже немолодых джентльмена, с здоровыми мясами, стянутыми в поношенные венгерки. Они постоянно подергивали плечами, распрямляли члены, как будто неустанно производили гимнастические упражнения. Два Аякса<sup>5</sup> были уже «изрядно заложивши», как было заметно по их глазам и испытанным физиономиям. По отрывочной фразе, на которой мы их застали, оказывалось, что они стремились в Сербию – кого-то и за что-то «разжечь...». Но их пыл охлаждал земский председатель, человек крепкого сложения, румяный, с брюшком и одетый очень тщательно, даже слегка подвитой, очевидно с претензией нравиться дамам. Это был Бурцев, известный в уездной Палестине под кличкой «Никаши», прежде большой забулдыга, а теперь «представитель». По уездной палестине ходила про него и Дикого барина сплетня. Рассказывали, что Никаша, промотав большую часть своего «родового», лет пять тому назад вернулся в свои Палестины из столицы за приисканием «средств к жизни». Он сумел скоро втереться во все дома скучающих помещиков, которым нравилась «новая, свежая струя», влившаяся вместе с его громким хохотом, скабрёзными рассказами и замечательно беззаветной «неунываемостью» в тоску и скуку их жизни. Он скоро заметил, что он нужен. В это же время, учуяв, что у Дикого барина осталось еще полпогребка бургонского, Никаша забрался и к нему. Дикий барин, никого не подпуская к себе, отступил перед Никашей и

---

<sup>5</sup> Два Аякса... – Аяксы; в «Илиаде» два греческих героя, неразлучных друга, сражавшихся под Троей. Перен. – «два Аякса»: неразлучные друзья.

позволил обольстить себя. Он глубоко верил, что, если в ком осталась теперь прямота и честность, так это в добродушных Бурцевых, кутилах и забияках; во всех других он видел «подленькие подходцы», «либеральные вилянья», вообще «печать времени». Итак, Дикий барин допустил Никашу к себе. Часто сидели они вдвоем по вечерам в усадьбе Дикого барина и распивали бургонское...

– Прикажете налить? – спрашивал Никаша.

– Налей.

– И мне-с?

– И тебе.

Стаканы наливались – и выпивались.

Одним таким же вечером вдруг влетает Никаша к Дикому барину весь сияющий, весь пропитанный букетом какого-то невиннейшего самодовольства.

– Чего ты ликуешь? – спросил его Дикий барин, сидя с поджатыми ногами на широком оттомане.

– Я нынче счастлив, ваше-ство... Позвольте чокнуться с вами!..

Дикий барин подозрительно поглядел на него. Он не допускал все-таки и с Никашей таких фамильярностей.

– С нынешнего дня я удостоен избранием почтенных представителей... – начал, сидя, Никаша.

– Ты? – спросил Дикий барин, и у него дрогнула рука.

– Я-с...

– Ты? На мое место? Ты, Никашка Бурцев?

– Ваше-ство, – обиделся Никаша, – в моем лице вы обижаете благосклонное внимание сословия...

– Во-он! – крикнул, весь побледнев, Дикий барин.

Никаша стушевался, а Дикий барин все еще стоял в одной и той же позе, бессознательно поводя сверкавшими из-под седых бровей глазами по двери, из-за которой он, казалось, все еще ждал появления кого-то. Вошел его старый камердинер.

– Одеваться! – приказал Дикий барин. Старик камердинер в недоумении стал чистить барский мундир; завозился, кряхтя, на печи седой кучер; заскрипел давно не смазываемый старый тарантас, выдвинутый на божий свет из крошечной тьмы сарая, и заматеревшие, в летах, клячи лениво становились в упряжь. Дикий барин поскакал в губернский город и через день же вернулся, еще более нервный, еще более мрачный.

Понятно, что Дикому барину и Никаше не особенно была приятна настоящая встреча.

Вместе с Аяксами, что-то доказывая, горячился старичок. Предупрежденный Морозовым, я сразу признал в нем майора. Он был в полувоенном сюртуке, с форменною фуражкой в руке, которою в споре махал по воздуху. Маленькие выпуклые глазки его так усердно бегали и метали такими взглядами, как будто хотели выпрыгнуть, не довольствуясь тем ограниченным пространством, которое отвела им природа под густыми седыми бровями; жидкие седые волосы торчали вокруг его маленькой лысины прихотливыми завитками «по-суворовски»; длинные белые усы, обрамляя небольшой рот и чисто выбритый, подбородок, низко спускались к груди. Маленькое и легкое тельце майора поддерживалось и носилось с места на место словно невидимыми крыльями, так как тонкие его ножки, обутые в мягкие, стариковские сапоги без каблуков, дрожали и гнулись. В споре он старался перекричать всех, отчего краснел, задыхался и брызгал слюной, которую больше всех принимал на себя бывший тут же улыбающийся батюшка, мужчина лет тридцати пяти, из новых, гласный в земстве и член педагогического совета. Он все стремился ворваться в спор, но, пока вставал с места, пока запахивал рясу, пока поправлял широкие рукава и простирал руку, говоря: «Позвольте заявить возражение», всегда опаздывал, ибо о том, на что он хотел заявить возражение, уже давно не

говорилось, и он отходил с улыбкой опять к стулу. Не участвуя в разговоре, с надменным высокомерием ходил вдоль комнаты, закинув руку со шляпой за спину, очень молодой человек, в золотых очках и во фраке. Я слышал про него. Это был адвокат – феномен в своем роде; проникнутый глубочайшим уважением к родовитости и аристократизму, он презирал искренно, от всего сердца «мещанство» и брал защиту только родовых дворян. Наконец за входной дверью, в углу, сидел какой-то старик из крестьян, с подрезанными на лбу седыми волосами, в синем, застегнутом наглухо армяке; он от времени до времени то старался одним ухом вслушаться в спор, то плевал тихонько в угол и что-то шептал, – вероятно, молитвы, – наклонив голову. Когда мы вошли, спор прекратился. Начались поздравления. Пользуясь ими. Дикий барин торопливой, но твердой поступью прошел в соседнюю комнату, не обратив ни на кого внимания, даже на адвоката, который выразил на лице своем глубочайшее почтение и ловко отдернул стоящий на дороге стул. Когда поздравления кончились, от дальнего окна поднялась стройная женская фигура, с крупными чертами лица, большой косой, просто собранной в кольцо на затылке, и в простом ситцевом платье. Ей было с первого взгляда лет двадцать пять. Она медленно сделала два шага вперед, когда Лизавета Николаевна с радушным лицом направилась к ней, и молча пожала ей руку, без всяких поздравлений; так же холодно и молча подала она руку и Морозову, который наскоро отдернул свою и, как мне показалось, чтобы скрыть замешательство, подошел тотчас же к батюшке и стал приглашать его тихонько «курнуть» к нему в кабинет, на что батюшка также шепотом и мимикой изъявил согласие. Я тоже счел наилучшим отправиться вслед за Морозовым и либеральным батюшкой.

#### IV

Скоро я остался один в кабинете Морозова. Я не бывал еще у него в новой, «барской обстановке», как называл он свое настоящее положение в качестве «барынина мужа», и потому меня интересовала всякая мелочь. Может быть, я думал уловить какой-нибудь смысл, «идею». В наше время этим «мелочам обстановки» было придано такое значение, что на них почти невольно обращаешь внимание. Прежде всего мне бросилась в глаза замечательная скромность кабинета Морозова. Простой деревянный длинный письменный стол, покрытый черной клеенкой; у окна два-три деревянных, массивных стула, может быть, своей работы; старый диван с кожаной жесткой подушкой; вдоль стены стоял верстак, под ним валялись свежие опилки и тряпки; немного дальше, сбоку от письменного стола, у другого окна – токарный станок. По стене висели два ружья с принадлежностями, револьвер, рабочая блуза, инструменты и подвесные полки с книгами, которых много, кроме того, лежало на письменном столе и на старинном комодике обыкновенного мещанского фасона, с полуобломанными медными ручками у ящиков. Книги были в здоровых, плотных переплетах, больше классики по различным «отраслям ведения»; все – томы внушительных размеров, компактной печати и тяжелого, неудобоваримого для обыкновенного смертного содержания. Я вынул одну из них: оказался том механики Вейсбаха. Но рядом с ним, к моему удовольствию, я откопал том Шекспира, из-за которого виднелась какая-то маленькая книжка. Я посмотрел: «Книга песен» Гейне. На заглавном листочке женской рукой написано: «Катерины Масловой»... Тут же дата «1 декабр. 69 г.» А в самом низу, карандашом, два стиха из Шиллера:

В царство звуков из могилы,  
В божий свет из тьмы густой!..

Я взял книгу и, сев к окну, стал ее перелистывать. Во многих местах были сделаны заметки карандашом и вписаны, уже мужской рукой, кое-какие стихи; попадались вопросительные знаки. Под одним из стихотворений, именно под второй главой «Горной идил-

лии», было написано рукой, кажется, Морозова: «Обращаю внимание своей дорогой воспитанницы... Прошу вникнуть». Но я заметил, кроме того, еще одну странность: заметно было, что книжка эта хранилась тщательно и с любовью, и все отметки и стихи, написанные карандашом женской рукой, были покрыты гуммиарабиком. «Словно министерские пометки!» – подумал я, улыбнувшись.

Пока я вертел перед глазами эту книгу, до меня долетали из соседних комнат в полуотворенную дверь обрывки разговоров. Речь, кажется, шла «о событиях дня», которыми было восстание славян<sup>6</sup>. Два Аякса, вероятно выпив еще, выразили еще большее желание устремиться в Сербию, чтобы кому-то что-то «доказать». Никаша теперь уже не усмирал их пыл, а, напротив того, поощрял, тем более что и батюшка благословлял. Вообще, заметно было, что Никаша взял «высокую ноту» и уже вошел в какую-то роль, которая, по его словам, заключалась, кажется, «с одной стороны, в искоренении вредных элементов, с другой стороны – в поощрении глубоких начал»; в чем состояли последние, наверное, сказать было нельзя, но можно предположить, что дело касалось Аяксов. Всю эту «высокую ноту» он пускал, очевидно, в виду присутствия Дикого барина, потому что не раз повторял фразу: «Мы не с ветру-с... Мы сознательно идем к одной цели... Мы ясно определили для себя тот путь... Мы, как представители, обязаны уловить ту нить... Мы должны прозревать в среде направление общественных симпатий...» и т. п. Но батюшка с ним не мог согласиться, и, когда Никаша предложил проект панихиды «по убиенным славянам», он заявил, что-де «не будет ли это раненко и, так сказать, предвосхищением событий... У нас господин благочинный очень строг в политике и руководствуется наиболее официальными указаниями...». Никаша настаивал, но, несмотря на то что он даже жертвовал на это своих три целковых, батюшка колебался и только тогда решился, когда Никаша крикнул: «Я отвечаю!»

– Мы вот-с как это сделаем, – заявил батюшка, – чтобы господину благочинному (батюшка, как «новый», звал заочно своего благочинного «господином», а не «отец благочинный»), чтобы господину благочинному не подать каких-либо поводов, я-с отслужу после обедни панихиду вообще, о всех христолюбивых воинах, павших на поле брани... Тут уж все войдут – и севастопольцы, и двенадцатый год... Тенденции-то никакой и не будет!

Все согласились на это, даже майор примкнул.

– А вот мы теперь не выпьем ли за успех? – предложил один из Аяксов.

– Вот это прекрасно! – поддержал Никаша. – Я, кстати, и книжку предложу-с, пользуясь случаем...

– Какую книжку?

– А вот видите... от комитета!

– Что ж, это хорошо! – сказал батюшка. – Вы с меня за панихиду-то и зачтите. Я готов пожертвовать!

– Нет-с, позвольте... Сначала, как и подобает, инициатива должна принадлежать его-ству...

Все отправились в гостиную, где Дикый барин с Морозовым пили чай.

– Ваше-ство! – начал Никаша. – Вам, как и всем здесь присутствующим, небезызвестно, конечно, какие ужасные события совершаются в судьбе единопле...

Я нарочно подошел к двери, чтобы послушать речь Никаши. как вдруг он оборвал ее на полуслове.

– Извини, Лизочка, прощай! Я не могу больше... В другой раз! – заторопился Дикый барин. – Навестите меня как-нибудь... Буду рад... А теперь не могу... Где моя шляпа? Палка?

---

<sup>6</sup> Речь... шла «о событиях дня», которыми были восстание славян. – Имеются в виду освободительные войны 1876–1878 годов, в Сербии и Черногории против Турции. В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну, которая стала частью русско-турецкой войны 1877–1878 годов, способствовавшей освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.



Но Никаша смутился только на минуту, и, в то время как Дикий барин поспешно уходил, сопровождаемый Морозовыми, он продолжал речь к оставшимся. Конец речи вызвал сильный протест со стороны майора. Майор закипятился: дело, кажется, состояло в том, что Никаша заявил о своем намерении собрать с крестьян пожертвования: с одной стороны, через станowych, «с разъяснением сущности дела», и с другой стороны – путем земства.

Майор восстал против этого, поддерживаемый упорным несогласием на этот проект со стороны седого старика.

– Так, так, миленький! – поощрял его майор, ликуя и сияя всей своей маленькой персоной. – Верно! Держи выстойку... Мы, мол, и сами сумеем... За нами дело не станет; захотим – головы положим!

– А что, у вас много в земстве выживших из ума стариков? – спросил сдержанным голосом адвокат «от дворян» Никашу.

– Юноша! – загремел майор, нахмутив брови, и засеменил ножками (очевидно, он потропился принять замечание на свой счет). – Не спеши обижать старого майора!.. Не опасайся! Он не тебя удостоит своим уважением... Вникни: в 1835 году...

Но тут майор заговорил так быстро, что до меня долетали только одни отрывки какой-то странной хронологии в таком роде: «... в 1835 году... состоял и, быв препровожден курьерно... в 1848 году... состоял и быв... откомандирован в Орск... В 1854 году... испросив всемилоостивейшего соизволения пролить за отечество... всемилостивейше соизволено... пролил... За дело на Малаховой кургане состоял... и быв... выслужил и получил... В 1861 году, в незабвенный день девятнадцатого февраля... поселился среди крестьян... и ныне, божьею милостью, пребываю...»

– Ха-ха-ха!.. Полно, старина, полно! – покровительственно посмеиваясь, заговорил Никаша. – Да кто же вас не знает! Ах, хорохора!.. Ха-ха-ха!..

И Никаша нежно тыкал его пальцем в живот. Батюшка посмеивался, а адвокат несколько струсил и конфузливо отошел к окну... Я взглянул на Морозова: он ходил по комнате, потрепывая бороду, и опять по лицу его носилась мысль: «Эк ведь ломается! И к чему ломается!.. А романтик! Чистый романтик!..»

– Так, так, миленький!.. – опять поощрял майор седого старика, равнодушно и лениво внимавшего «барскому разговору», как слушает пустые речи больной или уже отрешившийся от мира человек, которому давно все это надоело, – так, так!.. Крепись, дружнее стойте... Хвалю!..

– Что нас хвалить? Стары уж мы, хвалить-то нас! – лениво и сердито, отворачиваясь к окну, проговорил седой старик. – Дурно ли, хорошо ли – наше при нас и останется. Нас уж бог разберет!..

– Да, да! – заволновался майор. – Все еще у меня это старое... Поощрить, похвалить... Эк в нас засело!.. Ха-ха!.. И Орск не вытрезвил... А? Петр Петрович! Орск – и тот не вытрезвил... А?

– И Орск – романтизм, – буркнул Петр Петрович, залезая рукой за пазуху и в нервном раздражении двинув ногой стоявшее не на своем месте кресло.

– И Орск? – переспросил майор внезапно надтреснувшим и даже дрогнувшим голосом.

– Ха-ха-ха!.. – захохотал опять Никаша. – Ах, хорохора!.. Ах, старина, старина!.. А он думал и невесть что!..

– И Орск? – проговорил уже еще тише майор, как бы для самого себя. – Ну, это... это, кажется... – слишком уж действительность...

Он весь локраснел, как уличенный школьник, смешался, смутился и закашлялся...

– Ха-ха-ха! Ах, хорохора! – поощрительно захохотал было опять Никаша и выразил даже намерение радушно обнять старика, а батюшка уже поправил рукава ряски, приготавливаясь «сделать и с своей стороны заявление», как из соседней комнаты показалась та серьезная

девушка, которую заметил я раньше... Неся в руках фуражку и толстую суковатую палку майора, она быстрой, но твердой поступью подошла к нему и взяла его под руку.

– Папа, уйдем отсюда... – раздался чистый и ясный до резкости голос, несколько дрогнувший на последнем слове. А через секунду в глазах ее блеснул огонек, и кровь залила обе щеки, когда ее взгляд приметил нервную дрожь на лице Морозовых.

– Домой? Да?.. Пожалуй! Я ведь ничего... так... закашлялся! Это пройдет, – торопливо заговорил еще более смущенный майор. – Прошу извинить, – обратился он, расшаркиваясь по-военному, к присутствовавшим, – вот она... домой хочет!

И он вышел «петушком» вслед за дочерью.

Гости с усмешкой переглянулись; Лизавета Николаевна, чтобы скрыть смущение, занялась с прислугой, а Никаша подлетел к старавшемуся с нервной торопливостью свернуть папиросу Петру Петровичу и, подернув плечом по направлению к двери, куда вышел майор с дочерью, сказал полушепотом и полутаинственно: «Вредные элементы-с!»

– А его-ство тоже «вредный элемент-с»? – сияясь улыбнуться, спросил его Петр Петрович.

– Н-да?! – вскрикнул нелепо Никаша, не зная, засмеяться ли ему на этот вопрос или обидеться.

– Это значительно любопытный вопрос! – вывел его из затруднения батюшка.

– Ха-ха-ха! Да, это интересный вопрос!

– А вот тут еще господин доктор, Башкиров, проживает, – сообщил батюшка, – тоже элемент-с! Умный он человек, надо полагать, но не люблю я его. Не своим делом занимается. Мораль христианскую изволит проповедовать. Хорошее, конечно, это дело, но всякому довлеет свое...

– А не выпьем ли мы еще, господа? – предложил Морозов.

Это предложение было очень кстати. Все выпили, но уже беседа не клеилась. Видя, что хозяева «не в своей тарелке», по замечанию батюшки, которое он сделал мне шепотом, войдя с бутербродом в руках в кабинет, гости стали прощаться, тем более что на обед рассчитывать было нельзя, так как Лизавета Николаевна, по общему мнению, была «либералка» и старыми обычаями пренебрегала.

Остался один седой старик, все так же мирно сидевший в углу за дверью и безучастно внимавший совершавшемуся перед ним. Наконец он вздохнул, собрал тщательно с колен крошки белого хлеба, с которым пил чай, стряхнул полы и поднялся. Вытянувшись во весь рост, он был очень красив: во всей его фигуре чувствовалось какое-то настойчивое самосознание с примесью смирения, как это бывает у монахов; его умные и зоркие глаза светились такой глубиной, что, казалось, они глядели постоянно куда-то вдаль, поверх всего, что было вблизи.

– Благодарствую, матушка Лизавета Николаевна, – сказал он, – за чай-сахар, вашей милости...

– Ты-то чего же торопишься, Филипп Иванович? – спросили Морозовы.

– Я уж в другой раз приеду пособеседовать с тобой, Петр Петрович... Неколи теперь, недосуг. Я вот барыньку-то, по-старинному, поздравить завернул...

– Ну, что же, как у вас в земстве, Филипп Иванович? – спросил Морозов.

– Ты сам, Петр Петрович, знаешь, что там... А наше дело одно: как бы греха не наделать. В этом всю и мысль полагаешь. Много было грехов-то, так на старости только одно смотришь, чтоб еще на душу не принять. Вот и все наше дело в самом этом земстве.

Я улыбнулся, что старик, казалось, заметил.

– Ох, грехи, грехи! Дело, кажись, немудреное, а куды не легко! Ежели бы его-то исполнять по-настоящему, так и то бы в самый раз было! – проговорил он, смотря куда-то вдаль, поверх моей головы. – Прощенья просим! – прибавил он, мотнув головой и протягивая Морозову старую, медно-коричневую руку.

– А то остался бы пообедать, Филипп Иванович, – приглашали Морозовы.

– Нетутка... Неколи! – ответил он, махнул шляпой и вышел.

– Кто это? – спросил я Петра Петровича по уходе старика.

– Умный мужик и в то же время не подлец и не романтик. Знает, чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром пороха...

– То есть то, что выражается в одном слове: «не грешить»?

– То, что выражается в слове: «не грешить». Бывают такие условия деятельности, при которых сохранение и защита даже отрицательных добродетелей составляет подвиг... Наши крестьяне-присяжные и лучшие гласные из крестьян – живые примеры этого.

Мы замолчали.

– Ну, вот и опять мы одни! – сказала со вздохом Лизавета Николаевна, садясь пред небраным еще чайным прибором и откидываясь с беспомощно сложенными на коленях руками к спинке дивана. На ее лице светилась не то улыбка иронического сожаления о чем-то, не то выражение какого-то затаенного предчувствия, возможности возврата чего-то старого, тяжелого, пережитого. Я узнал это выражение: оно было хорошо знакомо мне. Встретив Лизавету Николаевну в саду, цветущую, довольную, очевидно наслаждающуюся, наконец, устроившуюся по ее вкусу жизнью, я уже думал, что этому выражению не суждено больше налагать на ее лицо печать преждевременной дряхлости, пассивной покорности судьбе и вечно неопределенного томления. И вот опять – оно. Опять я вижу пред собой прежнюю Лизавету Николаевну, как десять лет назад, сидящую так же за неприбранным чайным прибором, на студентской угарной и сырой квартирке в Петербурге, в Семеновском полку. Она сидит с озябшими ногами в теплых калошах на старом, с перелопавшейся подушкой, диване, с книгой в посиневших маленьких аристократических, почти прозрачных руках. Она смотрит в книгу, но ее мысль, очевидно, витает где-то далеко, и на ее лице лежит томительное и как бы вошедшее в привычку страдание.

Дочь богатого помещика, она, как дитя того периода, когда русская женщина жила «накануне» чего-то, увлеклась молодым Морозовым, жившим в качестве управляющего у соседнего помещика. Она страстно, беззаветно отрешилась от всего и во имя любви к нему, и во имя какой-то неопределенной идеи «новой жизни»: бросив отца, богатых женихов, роскошь окружавшей ее обстановки, она ушла за Морозовым. «Грубая действительность», конечно, не заставила себя долго ждать и начала безжалостно и обрывать и мять «цветы романтизма». Лизавета Николаевна волей-неволей вступила с нею в борьбу. Она выставила против нее все душевные силы, какие были в ней; а в ней было сердце глубоко любящее, самоотверженно-преданное. Но и только. Борьба была тяжела и едва выносима. Морозовых беспощадно жала нужда. Эта нужда была ничто для Петра Петровича; он «купался в ней, как сыр в масле», по его собственному признанию; но она была тяжела для Лизаветы Николаевны. И это видел и чувствовал Морозов; видел до жуткой ясности, что он ничего не может выставить против этой нужды. Он несколько раз хотел бросить свои скитания по «научным капищам» и «пристроиться», – но могла ли эта жертва удовлетворить Лизавету Николаевну? Разве ей нужна была эта жертва? Мало этого: она угадывала чутьем, что она стесняет деятельность мужа. Были случаи, когда он отказывался от участия в некоторых рискованных предприятиях. Она даже слыхала, как прямо соболезнавали об ее муже, что он пропащий человек для дела, что он изменил своим инстинктам, сойдясь с враждебным, в самом себе носящим разложение и расслабление элементом, то есть с нею. Она металась в этой ужасной дилемме, поставленной ей жизнью. Но ни слова ропота, ни звука жалобы или отчаяния не вырвалось из ее души. Иногда сам Морозов думал о ней так же, то есть как о веригах, но это были мысли мимолетные, скверные мысли: он глубоко раскаивался в них. Он целовал ее руки, просил у нее прощения за эти мысли: он чувствовал искренно, что не может ни под каким видом не преклониться пред этим «золотым сердцем», не уважить

то самопожертвование, с которым пионеры того времени выносили на своих плечах «новую идею», не ценить эту чистую, беззаветную преданность...

– Вы не поверите, как тяжело быть всегда одним, – продолжала Лизавета Николаевна, обращаясь ко мне, – не иметь дружка, солидарного по убеждениям и симпатиям! Вечно сидеть между двумя стульями и, оторвавшись от одних, не пристать к другим!.. Вы видели: мы для всех чужие, какой бы слой общества ни взяли мы...

– Это, Лизочка, – «историческая необходимость», говоря ученым языком, – заметил Петр Петрович, наливая сам себе стакан. – Бывают времена, когда «не помнящие родства» цыгане составляют «историческую необходимость»...

– Но ведь и цыгане могли бы быть солидарны между собой? Они-то где же? Ну, дайте их. Мы протянем им руку, мы дадим им свою любовь, свое сердце, всех себя.

– А солидарность между цыганами и «не помнящими родства» составит второй период «исторической необходимости». А когда он настанет, не знаю; значит, еще время не пришло. Но уж, вероятно, не мы в нем будем фигурировать...

– А кто же?

– Кто помоложе...

– И они с нами все-таки не сойдутся? – Нет.

– И мы состаримся, исполнив какую-то странную миссию «цыганства»?

– И состаримся.

– Вы знаете Катерину Егоровну... майорскую дочь? – спросила меня вдруг Лизавета Николаевна.

– Нет, почти не знаю.

– Странная девушка! Я ее не понимаю. Ее манеры меня раздражают... раздражали всегда... Она ведь воспитанница Пети. Она приехала в Петербург и тогда познакомилась с нами. Мы знали ее сперва под фамилией Усташевой, потом вдруг она переменяла фамилию и стала звать себя Масловой... Катериной Масловой...

Я вспомнил тотчас же книжку Гейне.

– Я ее не понимаю, – повторила опять задумчиво Лизавета Николаевна.

– И не понять нам. Или по крайней мере – трудно... – заметил Петр Петрович. – Вот тебе пример.

– Но неужели, Петя, мы, вчерашние «новые люди» (Лизавета Николаевна улыбнулась), так уже быстро успели состариться? Зачем эта сегодняшняя выходка Кати? Отчего к нам не ходит этот... Башкиров?..

Петр Петрович пожал плечами и задумчиво стал курить сигару. Задумалась и Лизавета Николаевна.

Я подал им руку; они молча пожали мне ее, и я ушел.

## Глава вторая Башкиров

### I

Я безучастно глядел на расстилавшийся передо мною тихий, мягкий пейзаж, каков он бывает в наших скудных палестинах пред закатом солнца. Его грубые во всякое другое время линии приняли то освещение, при котором солнце как будто ласкает своими последними лучами убогие равнины нашей родины, как будто этим нежным, мягким блеском силится скрыть грубоватый колорит скудной природы и ее обитателей, недавно еще так рельефно бросавшийся в глаза под изнуряющими, палящими его лучами. Я стоял на косогоре; от меня вниз, в широкую и глубокую лощину, сбегало море ржи, залитой золотом косых лучей, по которой мелкою волной ходили едва заметные полосы теней. Оно казалось мне бесконечным водопадом, беззвучно катившим от моих ног куда-то далеко, в беспредельную область, волны, несущие в себе довольство и полноту жизни. Дальше, по зеленой пойме, стеклянной лентой блестела река; за нею, в глубине, тянулась полоса лесов, как дикая гряда облаков на горит зонте, а там, еще дальше, где-то искрилась, переливалась и горела на солнце, до боли в глазах, глава одинокой колокольни. С реки несясь едва слышный шум колеблемой ветром осоки, сторожившей берега этой маленькой, но глубокой речки; откуда-то долетало журчанье мелкой волны, бившейся о камни, запрудившие родник; с отавы слышались смешанные звуки звенящих бубенцов и колокольчиков от пасшейся скотины... Все эти звуки лились мягко и плавно и погибали в беспредельном море чистого, теплого воздуха. И вдруг в смешанный хор разнообразных звуков, несшихся и со стороны реки, и с поля, и от леса, влился еще особенный, нежный и лепечущий звук. Я остановился и стал прислушиваться.

– А мне нынче сон приснился, – тихо говорил чей-то свежий, ясный голос, в котором звучали резкие, твердые ноты, – такой чудесный сон!..

– Какой? Ангел, что ли? – спросил другой, тоненький, слабый, очевидно еще детский, голосок. – Мне вот ангел приснился, весь белый, вошел он к нам в окошко и стал у меня в изголовье. Так мне светом и резануло в глаза, даром что я закрывши глаза спала... Проснулась, а мне в лицо прямо из окна месяц таково светит!..

– Вишь, тебе какой сон приснился! Это хороший сон...

– А мне вот такие сны не снятся, – заметил еще чей-то, тоже слабенький голос, – мне страшные все... Все лешие да домовые, а то ведьмы. Меня все пугают ими дома... Нет, мне такое хорошее не снится...

– А ты помолись, – посоветовал первый голосок.

– Я молюсь... Да это уж не оттого. А тебе какой приснился?.. Хороший тоже?

– Мне хороший, только простой, – ответил голос постарше, – мне приснилось, будто маленькая я, совсем маленькая, и будто я в поле со своей мамой... Маме нужно было рожать... Она взяла меня, подняла на руках, проговорила молитву и опустила вот на эту, на рожь-то... Потом перекрестила, поцеловала и ушла жать. А мне так сделалось хорошо, – лучше, чем в люльке... Рожь эта качается так тихо, и мягко так на ней. Вверху синее-синее небо, как теперь; нет-нет облачко пробежит, белое, как сахар; бежит-бежит и вдруг остановится и растает...

– Ну?

– Я глядела-глядела, качалась-качалась, меня рожь и убаюкала... я и заснула.

– И только? – спросил четвертый голосок, хриплый какой-то, болезненный.

– И только... Чего же больше? Больше и не нужно. Я и во сне видела то, что наяву люблю. Я люблю вон с того кособора смотреть на эту рожь... Сяду и смотрю, как она колыхнется, а в это время мысли так и бегут в голове...

– А о чем ты думаешь?

– Да многое думается, о всяком... Думается и то, что лучше: умирать ли, чем жить, или идти дальше куда-нибудь и искать, все искать...

– Мне вот, ровно в слово, такое же привиделось, – сказал больной голосок. – Будто я в эту рожь, словно в реку, бросилась – и поплыла. Только так мне страшно стало, будто тону я... Хочу вскрикнуть, а тут вдруг турка выхватил меня за ноги и держит над рожью... Я закричала и проснулась. И страшно мне, страсть как боюсь взглянуть на стену. А на стене у нас картинка с этим туркой есть, и подпись под ним: «Турки валяются, как чурки».

Раздался чей-то тихий смех.

– А ты пойдешь их лечить?

– Кого?

– А вот этих самых, что теперь турки мучат.

– Да ты откуда знаешь это?

– У нас на селе учитель читал. Всей деревней мы слышали. Пойдешь? – настойчиво спрашивал тот же голосок...

– Нет, незачем мне. Кабы я лечить умела!

– А как же ты у нас, третье лето, по избам в холеру с Кузьминичной везде ходила с ящиком? Нет, ты ступай туда. Тебе и доехать можно: у вас лошади хорошие...

Я обернулся, и вдруг через две полосы от меня поднялась из ржи стройная фигура майорской дочери, а за ней повыскакивали из глубины колосьев и васильков белые и темно-русые головки деревенских девчаток; кое-где в эти растрепанные головки всунуто было по цветку, на загорелых тельцах висели грязные рубашонки, прикрытые короткими сарафанами из синюхи.

Они побежали вслед за майорской дочерью, которая стала подниматься на кособор. Несколько приостановившись, она обернулась назад и равнодушно оглянула меня; ее стройный стан, в белом ситцевом платье, отчетливо обрисовался в слабевших лучах заходящего солнца, лицо носило выражение какого-то непонятного смущения, но было до того строго, что невозможно было предположить, что она только что рассказывала сон, как качали ее хлебные волны. Это была опять та резкая, грубоватая девушка, манеры которой так возмущали, нервы Лизаветы Николаевны. Она приставила руку зонтиком к глазам, взглянула по направлению к лесу, к которому плавно катилось солнце, затем надвинула низко на лоб угол ситцевого платка, которым были прикрыты слегка ее волосы, повернулась и скорой походкой пошла с девочками по задам морозовской усадьбы.

Скоро все они скрылись. Я пошел вслед за ними. Возбравшись снова на кособор, я увидел, как вся группа уже спустилась и, рассыпавшись, занялась срыванием цветов. Девчата постоянно кричали что-то «барышне», подбегая к ней с новыми цветами; она, казалось, отбирала подходящие и связывала в букет. Минут через десять вся группа, перейдя луг, направилась к концу села. Я более кратчайшим путем пошел им навстречу и увидел снова, когда они выходили из-за задворок последней избы. Несколько в стороне от села, совершенно скрываясь в глуши придорожных деревьев, стояла дряхлая, полуразвалившаяся изба. По некоторым еще уцелевшим на ней признакам можно было догадываться, что здесь был прежде кабак, называвшийся в старину «притынный»... Группа оригинальных существ, за которою я так пристально следил, приблизилась к этому домику... Старый, поседевший пес, с вылинялой по бокам шерстью, бросился было с хриплым лаем с завальни, но тотчас завертел хвостом и, тоскливо замурлыкав, улегся опять у крыльца. Очевидно, пришедшие были ему знакомы, и он имел уже случай неоднократно убеждаться в их благонадежности.

Одно из маленьких лиц группы быстро забралось на завальню, перевесилось внутрь окна, оглядывая внутренность избы, и, наконец, крикнуло, обращаясь к майорской дочери и показывая взятый с окна стакан с засохшим букетом:

– Вона – повяли! Совсем! А самого-то нету. И халат на полу валяется.

Майорская дочь подошла к окну, взяла из рук девочки стакан, выбросила завянувшие цветы, заменила их новыми и снова поставила стакан на окно. Вся группа повернула было обратно, как вдруг откуда-то вышла им навстречу низенькая старушка, в темном кубовом платье<sup>7</sup>, повязанная шалью.

– Ах, милая барышня, опять это вы цветочков принесли! Все вы моего Ванюшку-то утешаете! – заговорила старуха, ища торопливо в юбке своего платья карман с носовым платком. – Как же мне благодарить-то вас, дорогая моя? Все нами брезгают, все нами... Позвольте хоть ручку у вас поцеловать! – перебила свою речь старушка, найдя наконец платок и вытирая себе губы...

– Полноте, что вы? – вся вспыхнув и пряча руки, сказала майорская дочь. – За такие пустяки!..

– Нет, не пустяки это, дорогая барышня. Цветы-то эти для моего Ванечки, может быть, золота дороже.

И старушка заплакала.

– Что вы плачете? Вашим сыном вам бы не нарадоваться! Не всем такое счастье!

– Счастье!.. Дорогая моя, мне-то счастье, такое счастье, что и недостойна я, кажись... Да ему-то счастье ли? Ведь молодой еще он у меня, ведь любить тоже хочет. А кто его когда любил? Какая ему девушка бросила хоть словечко ласковое? А кто виноват? Ведь я все виновата, что его таким родила! Я, окаянная, должно быть, согрешила пред господом, что он, батюшка, попустил еще во чреве моем испортить его образ ангельский...

– Ну, что же делать... Зато он умница у вас. И сердце у него такое, что поискать надо!

– Умник он, дорогая моя! Да ведь с умом-то... разве ум нужен для любви?

Старушка печально покачала головой.

– Да что он у вас дичится всех?.. Ну, со мной бы поговорил... Если он уважает меня, то ему нечего скрываться, нечего думать, что я насмеюсь над ним. Вы скажите ему...

Она протянула старушке свою здоровую, сильную, загорелую руку и крепко пожала сухие, костлявые ее пальцы.

А в это время я заметил, как сам «Ванюшка» с ружьем приближался к дому и вдруг, как заколдованный, остановился за деревьями и смотрел на происходившую у его ворот сцену.

– А вот он, дохтур-то! – крикнули девчата, заметив его сквозь деревья.

Все обернулись в ту сторону, но уже никого не было. В необычайном смущении и волнении, «Ванюшка» бросился к плетню сада и, разломав его, пропал среди густых деревьев.

Майорская дочь весело улыбнулась старушке и, еще пожав ее руку, быстро пошла по дороге от села к «своей усадьбе».

---

<sup>7</sup> ...в темном кубовом платье... – кубовая краска, синяя растительная краска из растения куб, индиго.

## II

«Неужели она полюбила этого „доктора Ванюшку“, это странное существо, которому не улыбнулось приветливо ни одно женское лицо?» – подумал я. Я знал «Ванюшку» по ходившим о нем странным рассказам среди московской молодежи и врачей. Предо мной теперь вдруг ясно и ярко встала его фигура, маленькая, но крепкая и мускулистая, широкая в плечах, приземистая, что называется «башкирская», на тоненьких, но крепких и сильных ножках; несоразмерно огромная голова с сильно развитою затылочною частью, отчего она казалась двойной, сидела на короткой шее; монгольский тип во всем давал себя знать – и в маленьких глазках среди широкого лица, и в больших бровях, сходявшихся над широким приплюснутым носом, и в больших скулах с выдающейся нижней частью лица, едва прикрываемой жидкими волосами бородки. Его рождение совершилось при обстоятельствах, довольно романтических, как бы в насмешку над всей последующей его судьбой. Его мать, страстная восемнадцатилетняя девушка, единственная дочь богатого помещика волжской палестины, воспитанная среди уединения дико-однообразной природы на рыцарских романах, которыми зачитывалась до умоисступления, влюбилась в одного «удалого молодца» из кочевой вольницы, предводителя шайки башкиров, рыскавшей в окрестных местах. Ее увлекла страсть и романтический ужас такой любви. В глухую ночь, когда ее отец играл в вист на дворянских выборах в ближайшем городишке, она в лесу обнимала дикого сына степей: здесь зачала она Ванюшку. Пролетели месяцы, возвратился отец, пропал из виду «удалой молодец» с своей шайкой, и бедная девушка осталась одна с тайной думой о маленьком существе, развивавшемся под ее сердцем. Она с ужасом видела, что обыденная жизнь не укладывалась в романтические рамки, что за мгновение этого романтизма приходилось так или иначе платить. Неизвестно, что было бы с нею: может быть, она так же романтично погибла бы в одном из прудов своей усадьбы, если бы, наконец, рано или поздно, отец заметил ее беременность, но, на ее счастье, в это время влюбился в нее уездный лекарь, только что вышедший в отставку из полка, уже немолодой человек, любивший выпить и поиграть в картишки. Он сделал ей предложение, а она, не долго думая, приняла его. Через пять месяцев после свадьбы родился Ванюшка. Уездный лекарь сначала было зашумел и даже, по-военному, переломил о стену чубук и разбил трубку, но тотчас же смирился, сообразив, что все-таки очень приятно пить с тестем наливки и играть в пикет, имея в виду, что жена – единственная его наследница. Тем не менее больной, уродливый Ванюшка был в совершенном загоне; он не интересовался им, не любил говорить о нем, мать никогда не показывала его мужу, но зато сама отдала сыну всю душу и, как часто случается с романтическими натурами, предалась религиозному созерцанию. Через год родился еще сын – баловень отца. Отец сам воспитывал его, лелеял, баловал. Ванюшка никогда не сходилась с своим братом, а если это случалось, то его били. Наконец отец с нетерпением стал дожидаться, когда ему можно будет «убрать» от себя куда-нибудь Ванюшку; едва минуло ему семь лет, как он тотчас же увез его в город и отдал на попечение дьякона, с тем чтобы тот пристроил его в бурсу. Отставной лекарь не хотел отдать его в гимназию, где должен был учиться его собственный сын. Восьми лет Ванюшка был «пристроен» в бурсу под фамилией Башкирова, которую придумал для него уездный лекарь. Понятно, чем стала для маленького Башкирова эта ужасная русская школа – для него, забитого, смирного, уродливого мальчика, лишенного ласки отца и матери. «Двухэтажная башка» – вот прозвище, которое носил он в продолжение двенадцати лет. Насмешки, щипки, тумачки, порка сделались неизбежными элементами его воспитания. Но чем больше они сыпались на него, тем он становился более и более хладнокровным к ним. Они как будто теряли для него всякое значение. Помогали ли этому его крепкая физическая натура или сила его характера, но только равнодушие к врагам и какое-то безусловное всепрощение постоянно царили в его душе. Очень могло быть, что его забили бы совсем, если бы его



не вывозила громадная, удивительная память, помогавшая ему избегать половину тех пороков, которые переносили его товарищи. Сидя на постели и выделявая какое-нибудь украшение для своего единственного друга и любимца, дьяконского козла, он протяжным и ленивым голосом «покорнейше просил» зубрившего урок товарища прочитать ему вслух повнятнее. Товарищ читал, а Ванюшка говорил: «Будет» – и отправлялся к козлу. А на следующий день отвечал урок буква в букву. Учителя дивились; им даже было досадно, что нельзя было выпороть Ванюшку за незнание урока. Но зато находили случай пороть его по другому поводу. Он был сделан аудитором – и вот в этой-то должности не мог устоять от искушения ставить своим «слушанникам» самые похвальные баллы. Приходил учитель, вызывал ученика – тот ни в зуб толкнуть. «Аудитор – сюда! – Ванюшка вылезает из-за парты. – Пороть!» Ванюшку порют, а на следующий день опять Ванюшка поощряет своих слушанников отличными отметками. Кончил Ванюшка наконец курс удивительной школы, постаравшейся стереть с его типической физиономии почти все, что оставил ему в наследство «дикий сын степей». В это время был вызов в университет. Несколько его однокашников собирались в Москву и, подсмеиваясь, приглашали его прогуляться вместе с ними. Они подсмеивались, ибо чистосердечно не могли ожидать от него такой «прыти» и столько нравственной энергии. В особенности они не могли представить его занимающимся «новыми языками». Действительно, последних боялся и сам Ванюшка. Но как-то раз полюбопытствовал он посмотреть книжку Марго. Прочитал первую страницу лексикона – и выучил, прочитал вторую, проверил себя, перегнул пополам страничку – знает. Он решился, и через две недели весь лексикон при этой книжке знал наизусть. В Москву он отправился в качестве не то товарища, не то лакея при одном из своих однокурсников, сыне благочинного, который постоянно читал ему наставительным тоном какие-то рассуждения о примирении науки с религией. Ванюшка за это чистил ему сапоги, бегал за вином в лавочку. Так прибыл он в Москву и поступил в студенты. Чем он жил, было совершенно неизвестно. Таскался по плотничным и малярным артелям, писал мужикам прошения, ночевал у них, и никогда никто не слышал от него ни одной жалобы, несмотря на то что он очень часто ел только кусок черного хлеба с квасом. Ни у кого он и не просил ничего. Запуганный, робкий, неловкий, привыкший преувеличивать свою физическую уродливость, с которой, как ему думалось, нельзя было появиться в люди, чтобы не произвести смеха, он редко посещал лекции (за исключением анатомического театра), еще реже бывал у товарищей. Но к экзамену всегда являлся и сдавал его хорошо. Громадная память и здесь выручала его. Но эта же память приучила его отчасти к умственной лени: слишком уже легко ему давалось все. Каждая книга, которую он прочитывал, целиком укладывалась в его голове. Читал он немало, и так как прочитанное не улетучивалось у него, то «двухэтажная башка» его представляла собою какой-то чудовищный архив, в котором он, впрочем, не оказывал никакого желания разбираться. Обладающие огромной памятью обыкновенно бывают слабы в анализе и обобщениях: их будто гнетет избыток знания. Да, Ванюшка и любил больше жизнь, чем отвлечение. С четвертого курса он уже имел случай прямо прилагать свое знание. Постоянно толкаясь и живя в подвалах, он неустанно лечил массу люда: швеек, прачек, плотников, столяров, фабричных; ставил им горчичники, прописывал слабительные, крепительные, вырезал чирьи, опухоли, вправлял вывихи. В это же время случилась с ним одна из тех неизбежных историй, которым платит дань каждый из юношей. Зашел он как-то раз к одному из приятелей, и тот представил его своей сестре. Ванюшка в нее влюбился. Это заметили. Но Ванюшка любил по-своему: он никому об этом не заикался, даже боялся заикнуться самому себе. Мысль о взаимности он гнал из своей головы, как что-то химерическое. Чем выше, чем красивее, чем милее представлял он себе предмет своей страсти, тем невозможнее считал он мысль о взаимности. Так любил он, долго и молча, все сильнее и сильнее, но зато и сосредоточеннее. Единственным утешением его было взглянуть хоть раз в день на предмет своего обожания. Он придумывал всякие предлоги, чтобы заходить ежедневно к приятелю, и это, конечно, скоро сделало его мишенью для веселых насмешек. Неиз-

вестно, знала ли девушка об его любви, но только она никогда не сходилась с ним и через несколько времени вышла замуж. Долго ходил по этому поводу между товарищами следующий смешной анекдот. Говорят, что в день ее свадьбы кто-то зашел к Ванюшке в то время, как он только что стал надевать брюки и уже успел натянуть одну штанину. (Он одевался, как и все вообще делал, медленно и обстоятельно.) В эту минуту его товарищ сообщил ему, что сегодня свадьба его возлюбленной. Ванюшку как будто ударили оглоблей по голове. Он до того опешил, что товарищ испугался и ушел от него. Ванюшка не сказал ни слова: он долго смотрел в стену, потом поднялся и, не замечая, что все еще в одной штанине, поддерживая другую рукой, стал ходить из угла в угол комнаты. Так проходил он весь день, и этим разрешился вопрос его любви. С этих пор он еще дальше ушел от образованного общества и, наконец, мало-помалу потерял даже всякую нравственную связь с ним. В обществе сначала считали его оригиналом, потом стали называть полоумным. И вот в то время как ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиниках, он вдруг все бросил и ушел в подвалы, в которых в то время свирепствовал тиф. Наконец на него махнули рукой. Он в представлении общества стал тем же, чем обыкновенные юродивые, бог знает по каким побуждениям расхаживающие босиком, с открытой грудью и головой в лютые русские зимы, «когда так легко простудиться». Но общество ошибалось; в натуре Ванюшки, к удивлению всех, лежала сосредоточенная, могучая нравственная сила, очень часто доходящая в подобных личностях до неимоверного упрямства, как следствие затаенной гордости. Но кто же мог предполагать, что у Ванюшки есть «принципы»? А между тем он, когда ему предлагали стипендию, отказался и никогда не получал ее. Оказалось, что Ванюшка дорожит своей независимостью. Это стоило ему очень дорого, но он пробился все пять лет на своем «коште», а стипендии так и не взял. Что у него были «принципы», об этом без смеха не могли бы и говорить его товарищи. Они его считали «осиной», «деревом» и крестили его этими именами, когда он равнодушно и лениво слушал их горячие споры о «народе», о «язвах», о различных «измах» и пр. А между тем, если у него и не было цельного мирозерцания, по неумению его, вследствие умственной лени, предаваться спекулятивным упражнениям, то было много кое-каких оригинальных «основных положений», «устоев». У человека непосредственной жизни всегда есть эти устои, заменяющие цельное мирозерцание; на этих устоях держится, бессознательно для него, все его нравственное здание, хотя они стоят у него одиноко и, по-видимому, ничем один с другим не связаны. Такие устои в особенности очевидны в народе. Какого рода они были у Ванюшки, мы для примера приведем следующий разговор.

Молодые товарищи его знали, конечно, что Ванюшка хорошо был знаком с простым народом, так как постоянно толкался среди него. Они это знали, но считали его совершенно неспособным и не желающим воспользоваться своим знанием, как могли бы воспользоваться они. По этому обстоятельству они часто предавались соболезнованиям. Некоторым приходила в голову мысль эксплуатировать его практические знания в этой области. Так, однажды пришел к нему один из самых рьяных его товарищей по части разных «общих вопросов». Ванюшка в то время жил в плотничьей артели, занимая на день все ее помещение, так как днем рабочих никого не было.

– Скажи, Башкиров, – заговорил приятель, – ты хорошо ведь знаешь простой народ?

– Чаво я знаю? Знаю я Петра да Сидора. Вот чаво я знаю! (Нужно заметить, что Ванюшка говорил почти невозможным для порядочного общества языком: это была смесь семинарского жаргона с мужицким; да кроме того, он говорил протяжно, лениво ворочая языком.)

– Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучил же ты? Вот они с тобой сходятся, тебе доверяют. Ты, значит, знаешь, чем можно добиться их доверенности, чем разрушить ту стену недоверия, которая существует между нами и ими?

– Знаю, – протянул Ванюшка, хитро улыбнувшись.

– В чем же, в чем штука-то? – вскрикнул обрадовавшийся юноша. – Трудно?

- Нет, ничего... легко!
- Легко?
- Не сумлявайся... легко...
- Ну, так в чем же штука-то?
- Штука-то?... Быть несчастным!

Приятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка стал хладнокровно переобувать сапоги и молчал.

Такого же характера были и другие его «устои». Как человек, живущий постоянно настоящей, реальною жизнью, он решал все сложные вопросы конкретно, а не в отвлечении. Нашелся у него один пациент из мастеровых, парень лет двадцати пяти, больной и хилый, вздумавший, кроме того, тосковать еще от любви.

– Мне, – говорит, – жениться очень нужно... Вот главная суть в чем!.. – объяснял он Ванюшке.

– Так чаво ж тебе – женись!

– Жену прокормить нечем. Вот какая линия!.. Сам я хилый, а она того хуже. У меня и на свадьбу-то гроша нет.

Перед Ванюшкой сейчас же стал средний человек, человек, так сказать, «гигиенический», который в лекциях медицинских фигурирует да в популярных гигиенах; явились у него в голове теория Мальтуса, и наследственность, и расположение нищих, и ответственность пред потомством. Ванюшка покрутил головой и затем плюнул.

– Ты, парень, лучше женись, пока не умерли вы оба. Женишься – умрешь и не женишься – умрешь. А все ж испробуете, что за штука любовь-то... Тоже ведь вашему брату счастье-то не в частую... А на свадьбу я тебе денег принесу заимообразно... чтоб тебе это было не в огорчение!

«Потомство!.. Вишь что выдумали! Хитрые шельмы! Им это ничего... Говорят, имей в виду потомство! – твердил про себя Ванюшка и волновался. – А ты вотними рубашку и отдай!»

По окончании курса Ванюшка остался в том же положении, в каком был и студентом. Года через два он вздумал было защищать диссертацию, да, как мы видели, самым лежачим образом не явился в назначенный день на защиту. Назначили другой срок, но едва он явился на кафедру, едва увидал пред собой группу растолстелых и вылощенных джентльменов, которые уже приготовились броситься на свою жертву (а им действительно диссертация была не по душе, ибо доказывала положительный вред некоторых медицинских учреждений), едва завидел публику, собравшуюся глазеть на эту «диалектическую травлю», как вдруг необычайно смешался, сконфузился – и не «защитил», к удовольствию смеявшейся публики и гг. оппонентов.

Вскоре же после этого случилась с ним неприятная история, из-за которой пришлось ему возвратиться на родину. Семь лет не видал он своей матери и теперь застал ее уже худой, больной женщиной, живущей в келейке у одной крестьянской «начетчицы». Она молилась богу, ходя по церквам и монастырям, и жила тем, что читала по покойникам. Это не удивило Ванюшку, так как он знал, что всеобщее «разоренье» давно уже погребло в своем бурном водовороте и их «дворянское гнездо». Отец его промотал половину имения еще прежде, чем получились выкупные свидетельства, а его брат покончил с ними, спустив все до нитки. В одно утро мать, давно уже погружившаяся в религиозный пиетизм, к удивлению, но не к ужасу (ей было почти все равно), узнала, что их имение перешло целиком к одному кулаку-купцу. С кое-какими деньжонками, оставшимися у нее от распродажи «родовой» рухляди, она перешла на житие к своей знакомой начетчице.

Ванюшка прожил некоторое время среди волжских мужиков, практикуя между ними и инородцами, и опять вернулся в столицу, взяв с собою мать. С этого времени он вел свою

прежнюю жизнь и деятельность: зимой жил по подвалам и чердакам и практиковал там, а на лето уезжал куда-нибудь в деревню «проветриваться от миазмов», как говорил он. В деревне он что-то писал в серьезные медицинские журналы и изредка лечил мужиков. В это-то время мы и застаем у него майорскую дочь.

Знала ли эта серьезная девушка, кто был Ванюшка? По незнанию ли его личности ухаживала она за ним или именно потому и ухаживала, что знала, кто он и что он? И почему все эти добрые люди – и майор, и Морозов, и Ванюшка – не находят между собою общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли сойтись? Я чувствовал, что здесь легла густая тень какого-то общего тяжелого недоразумения. Я почувствовал какую-то жгучую потребность во что бы то ни стало проникнуть в суть этого недоразумения, осветить для них тьму ее, в которой они тоскливо бродили, и разогнать эту тьму, чтобы свои увидели своих и подали друг другу руки.

## Глава третья

### Обитатели Майорской колонии

Наутро я шел к майору. Его усадьба, которую все величали «полубарским выселком», находилась верстах в трех от деревни, в которой жил я, и верстах в двух от Морозовых. Полубарский выселок представлял из себя нечто оригинальное: это была кучка плотных, здоровых, обыкновенных крестьянских изб, вытянувшихся на косогоре пред речкой; сзади эта кучка примыкала к садам, переходившим в березовую рощу, а пред нею стояли в одиночку службы: амбары, овины. Изб всего-навсего было четыре, из которых две – одна, напоминавшая собою маленькие, пятиконные домики уездных городов, а другая – просто крестьянская – принадлежали майору, прочие – его пайщикам: выселившемуся из села юркому мужичонке Чуйке, первейшему майорскому другу и слуге, привязавшемуся к нему, как собака, и вольноотпущенному дворовому человеку, старику камердинеру, большому философу и резонеру, вечно спорившему с майором и препиравшемуся с ним по поводу разных «господских» и «мужицких» вопросов... Эти три оригинальные хозяина-собственника выделились из общего сельско-господского строя и образовали собою, непостижимо каким образом, особую колонию еще в конце шестидесятых годов. Клочок земли, на которой они поселились, принадлежал майору. Майор предложил сначала поселиться Чуйке, а затем и Троше (так звали камердинера, хотя ему уже было лет под семьдесят; он был в свое время любимец одного богатого барина, и тот никогда не звал его иначе как нежным прозвищем «Троша», которое и утвердилось за ним навеки, несмотря на то что старик очень сердился, когда мужики называли его так). Они поселились, разделили землю на пай и завели общее хозяйство: сняли вместе у соседей-помещиков землю и стали пахать; скупали у крестьян скот и завели скотный двор. Первым воротилой во всей этой «хозяйственной обстановке» был Чуйка, которому майор, по романтичности, а Троша, по «господской апатии и лени», доверились волей-неволей вполне. Была, впрочем, тут разница: майор доверялся вполне, беззаветно, хотя и следил сам за хозяйством или, по крайней мере, делал вид, что следил, ибо по живости своей натуры постоянно во все вникал, всегда шумел, всюду совался (на что Чуйка смотрел хитро-снисходительно и любовно), а Троша, напротив, постоянно ворчал, упрекал Чуйку за какие-то якобы «мазурнические дела», которые больше сочинял сам и которых в действительности не видал. Упрекал за всякое приобретение, какое Чуйка делал в своем личном хозяйстве: купит, например, Чуйка самовар, Троша уже направляется к майору и «конфиденциально» доносит, прося обратить внимание.

– Мне что! – говорил он при этом. – Мне не надо. Я это не по жадности какой вам докладываю, сударь... А только примечательно, что он очень уж юрок, очень в вашу доверенность вошел...

Натурально, майор при первом свидании передавал эти слова Чуйке, который волновался и шел сейчас же «требовать объяснений» от Троши. Троша был, однако, большой руки трус и боялся настойчивого, крикливого характера Чуйки; он тотчас же начинал врать и отбояживаться, вздыхать о людской несправедливости и угощать Чуйку чаем, за которым убедительно доказывал, что майор – большой руки выдумщик и что он на него, Трошу, постоянно взводит напраслину. Чуйка успокаивался этими объяснениями – и все входило в обычную колею. Он продолжал деятельно и неустанно блюсти общую хозяйственную обстановку, смотреть за рабочими, за скотом, ездить и маклачить на базарах; Троша по-прежнему продолжал ходить лениво из сарая в сарай, в барском пальмерстоне<sup>8</sup> и вытертой бобровой фуражке, понюхивать табак

---

<sup>8</sup> ...в барском пальмерстоне... – пальмерстон – длинное пальто особого покроя (по фамилии английского дипломата Пальмерстона (1784–1865), носившего такое пальто).

и, ворча, сидеть на лавочке около своей «горницы», как звал он свою избу; а майор постоянно странствовал и «вел баталию» на земских собраниях, у мировых судей, на волостных сходах, в присутствиях по крестьянским делам и даже в окружном суде. Это была чрезвычайно живучая и подвижная натура. Несмотря на свои шестьдесят лет, на седые волосы, на разбитые ревматизмом и болью, от засевшей в правой ляжке пули, ноги, он не знал усталости и постоянно кипятился, кричал с мужиками, кричал с господами – и только выпивал стакан за стаканом воду да вытирал красное от волнения лицо большим ситцевым платком. Между натурой Чуйки и майора было много общего, и это-то, вероятно, и свело их.

Таковы были обитатели «полубарской усадьбы», этой своеобразной колонии, таковы были их отношения друг к другу. Все это, понятно, я узнал не вдруг.

Я подходил к усадьбе в то время, когда уже у «господского дома» (майорский дом звали «господским») стояла кучка мужиков, из которых одни были дальние, другие – вчерашние знакомцы, говорившие с Морозовым. Последние, как люди «свои», развязно сидели на крылечке, а первые недоверчиво и боязливо слушали Чуйку, который, не видя меня, горячо разговаривал с ними. Так как видимо было, что майора нет еще дома, то я приостановился, облокотившись на решетку палисада, и стал вслушиваться.

– Милый барин – они-с, господин майор, – говорил Чуйка, – вы не опасайтесь, мы с господином майором давно уже по крестьянским правам состоим...

– Разберет вас тут леший, прости, господи! – проворчал один угрюмый мужик, видимо раздраженный трескотней Чуйки и уверенный, что он только среди «своих». – Все вы нынче насчет этих правое разъезжаете...

– А вы чьи? – спросили пришлые мужики Чуйку.

– Мы? Ихние-с были, майорские. А теперича они с нами поселились на равных правах...

– На каких на равных?

– На всяких, на крестьянских... Нда-с!

– Да он барин, что ли?.. Али так... из кантонистов<sup>9</sup>? – полюбопытствовали пришлые.

– Барин!.. Знамо, барин, – улынулись на недогадливость пришлых «свойские» мужики.

– Барин! – каким-то своеобразным тоном прокричал Чуйка. – Они майор, и ничего больше!..

– Так как же это он, почтенный, в монахи затесался? – интересовался один из пришлых.

– В монахи! Опять тут пустое слово, – как будто вконец обидевшись на несообразительность пришлых мужиков, сердито проворчал Чуйка. – В миру они, в безбрачии, пятьдесят лет жизни произошли... Двадцать лет тому назад, как они, господин майор, изволили свою вотчину, после покойников родителей своих, на волю отпустить, тут они и на безбрачие пообещались... Н-да!.. До всемилостивейшего манифеста изволили в этом обете пребывать, а девятнадцатого февраля, в незабвенный день, явились к нашему батюшке. «Соблаговолите, – говорит, – батюшка, теперича с меня безбрачие снять и обвенчать на вдове – крестьянке Василисе Ивановой». А теперь они во вдовстве, при дочке, божиею милостью.

– А вы при нем как состоите?..

– Мы у них по конторской части. Ну и в то же время вместе землю подымаем. Коммерцию ведем скотинкой... Мы на паях. А впрочем, – прибавил Чуйка, поправив фуражку, – обождите. Они сейчас будут и все вам скажут, что ежели можем.

– Да вы, почтенный, с майором-то аблакаты, что ли, будете?

– Аблакаты? Нет, не выйдет так, – подумавши что-то, отвечал Чуйка, – мы только единственно... И по судам ходим, но только не в том виде... Вы вот господина майора спросите. Они всякую, например, фальшь очень чудесно видят... Например, по земству, даже очень их

---

<sup>9</sup> ...из кантонистов... – кантонистами в России назывались солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

эти земцы не любят! Обождите! – предложил Чуйка, заключив рекомендацию своего первейшего приятеля, пайщика и патрона, старого майора, репутацией которого он дорожил больше всего на свете и не упускал случая выставить личность старика в наивыгоднейшем свете, не пренебрегая даже, как заметно, украшениями из области своей личной фантазии.

Чуйка приставил козырьком руку к глазам, посмотрел по направлению пыльной дороги, затем моментально юркнул в один сарай, потом в другой, подбежал к амбару, освидетельствовал засов, притворил калитку дома, погладил мимоходом лежавшего пса, тут же кстати успел подразнить обидчивого индюка и, наконец, вновь посмотрел из-под ладони на дорогу.

– А вот и они-с, господин майор!

Чуйка еще раз показал фуражкой по направлению к ехавшему вдаль экипажу и бросился отворять ворота сарая. Через несколько минут въехал в проселок знакомый майорский экипаж, плетушка из обыкновенных ивовых прутьев, поставленная на легкие дроги; в плетушке сидел майор и осторожно и внимательно правил здоровой, коренастой лошады. Едва лошадь остановилась у сарая, Чуйка обязательно высадил майора, поддерживая его под руки, и затем ввел лошадь в сарай. Майор, в старом военном плаще и фуражке, храбро постукивая своими плисовыми сапожками и грозно-добродушно поглядывая из-под нависших седых бровей серыми, бесцветными глазами на стоявших у крыльца мужиков, подошел к ним и крикнул свое обычное военное приветствие: «Здорово, ребята!»

– Здравия желаем, ваше сиятельство! – ответили, ухмыляясь в широкие бороды, «свои-ские мужики».

– Зачем майор нужен, молодцы? – спросил он, обращаясь к пришлым.

– Да мы вот, ваше сиятельство, как, значит, наслышаны об вашей милости...

– Ладно, ладно! Знаю, что наслышаны... Про майора худо не говорят... Об земле?

– Так точно. Об чем больше, как не об ней.

Мужики все враз что-то заговорили, стараясь возможно почтительнее и определеннее объяснить майору свое дело.

– Смирно! – крикнул вдруг майор командирским голосом. – Слушать команды! Объясняй, когда команда будет! Отойди к стороне!

Пришлые мужики совершенно растерялись при таком обороте дела и поспешили сбиться в кучу за крыльцом.

В это время подошел я.

– Что вы все воюете в мирное время? – шутя спросил я его.

– А! Здравствуйте!.. Иначе нельзя-с: форма и дисциплина, батюшка, давали направление великим событиям. Не будь их, был бы хаос... и я бы, ничего не мог сделать, если б не придерживался этого принципа... Вам что? – обратился он к «своим».

– Мы, ваше сиятельство, по команде, – снова улыбаясь в бороды, отвечали они.

– Ермил Петров, доложи!

– Мы, ваше сиятельство, как значится, – начал тяжелой поступью свою речь Ермил Петров, – как мы изволили вам тогда докладывать, выходит, что ежели касательно...

– У Морозова были?

– Это, значит, у Петра Петровича Малова?

– Ну, да.

– Были-с... Ну, только упирается, послал к вашей милости... говорит, что эти дела ему не под стать, а вашей милости в самый раз.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.